



— За 20 лет правления императрицы Елизаветы Петровны, с 1741 по 1761 год, не было совершено ни одной смертной казни

тической смерти и четко фиксирующие преступления, за которые полагалось такое наказание.

Развернутое толкование политической смерти было дано лишь в 1753 году: «Сенат рассуждает: политическую смертью должно именовать то, ежели кто положен будет на плаху или возведен будет на виселицу, а потом наказан будет кнутом с вырезанием ноздрей или хотя и без всякого наказания, только вечной ссылкой». Кажущаяся противоречивость данной трактовки заключалась в том, что приговоры к политической смерти оставались без приведения в исполнение, а кнут, вырезание ноздрей и ссылка за «воровство и разбой» применялись повсеместно без каких-либо докладов в Сенат и политической смертью не считались. Таким образом, под ту или иную форму высочайшего запрета попадала не только смертная казнь, но и ее инсценировка, практически приравненная мораторием к смертной экзекуции по тяжести наказания.

Если вопрос о политической смерти был для сенаторов и императрицы все же вопросом терминологии и судебной теории, то собственно приостановка смертной казни оказалась и общей, мировоззренческой проблемой.

Вынутые из петель тела повешенных и прибитые тут же жестяные листы с перечислением их преступлений в назидание прочим до Елизаветы были обычной картиной социального пейзажа России.

Сенаторы пытались урезонить монархиню и выдвинули сразу несколько аргументов против моратория на смертную казнь. Во-первых, они полагали, что число оставленных в живых воров, разбойников, убийц и фальшивомонетчиков будет неуклонно расти. Казалось, волна бунтов и разбоев накроет страну, если не поселить в сознании подданных «потомственный страх», о котором во время подавления башкирского восстания писал генерал-лейтенант князь Василий Урусов. Во-вторых, сами эти подданные, видя безнаказанность, будут склонны к злодеяниям, а войска — к непослушанию. В-третьих, пагубное милосердие шло вразрез с традицией русского законодательства и особенно со строгими государственными установлениями родителя государыни, «блаженного и вечно достойного памяти Петра Великого», который «смертные вины» карал жестокими казнями. Сановники робко предложили представлять на высочайшее рассмотрение только дела осужденных на смертную казнь, а политическую смерть вершить, как прежде, на уровне губерний и провинций. Императрица ответила одним распоряжением — «политическую смерть не вершить».

Но мнению правящей элиты в самодержавной России с легкостью игнорировалось, мораторий на смертную казнь и политическую смерть был установлен и неукоснительно исполнялся. Но противоречия, скрытые за верноподданнической стилистикой сенатских докладов, отчетливо проявились при составлении так и не завершеного текста нового уложения.

В августе 1754 года по представлению приближенного императрицы графа Петра Шувалова за «сочинение ясных и понятных законов» заседала специально созданная при Сенате комиссия. «Законотолкователи и законоискусники» получили в помощь опытных канцеляристов, а также средства из штатс-конторы на бумагу, чернила, сургуч, дрова и свечи. Им предстояло написать проект уложения в четырех частях — «о суде», «о различных состояниях подданных», «о движимом и недвижимом имении», «о казнях, наказаниях и штрафах». Через год были готовы две, наиболее проработанные с точки зрения комиссии части, «судная» и «криминальная». По всей видимости, воск и перья тратились впустую: в статьях обнаруживалось полное забвение всех указов правящей монархини, касающихся смертной казни и политической смерти. После десятилетия фактического моратория на исполнение таких приговоров сфера их действия была расширена, а сама процедура казни стала более жестокой.

Ситуация с подготовкой уложения и позицией Елизаветы Петровны выглядит еще более невероятной, если учесть, что перед началом работы комиссии над второй редакцией кабинет-министр Адам Олсуфьев объявил, что «Ее Императорское Величество высочайше повелеть соизволила в оном новосочиняемом уложении за подлежащие вины смертной казни

не писать». Последовали указы о выборе в городах дворян и купцов для «слушания новосоставленного уложения». Предметом публичного обсуждения мог стать вопрос не просто о моратории на смертную казнь и политическую смерть, а о принципиальном изменении уголовного права. Сейчас становится ясно, что императрица не уступила бы, и лишь ее кончина прервала невиданное в России противостояние самодержца и политической элиты по поводу гуманизации наказаний за тяжкие преступления.

Вероятно, историк князь Михаил Щербатов был недалек от истины, когда писал о дворцовом перевороте 1741 года: «Она при шестивии своем приняла всероссийский престол, пред образом Спаса Нерукотворенного обещалась, что если взойдет на прародительский престол, то во все царствование свое повелением ее никто смертной казни предан не будет».

В данном случае, во-первых, налицо очевидные коллизии сознания отдельной личности. В отчаянных жизненных ситуациях человеку свойственно обращаться к Богу и надеяться на чудо, когда, кажется, никто не может помочь и ничто не может спасти. В зависимости от индивидуального опыта, религии, глубины собственных духовных переживаний эти иррациональные «договоренности» со Всевышним могут облекаться в самые неожиданные формулировки. По всей видимости, Елизавета действительно взяла на себя определенные обязательства перед своим Богом — при условии, что он обеспечит удачный гвардейский переворот. Переворот удался, и нужно было платить по счетам.

Курьезы религиозного чувства остались бы сокровенным опытом отдельной личности, если бы этой личностью не была императрица. С одной стороны, византийский обряд венчания на царство придавал особую экзальтацию христианской вере любого русского монарха. С другой, сакральная воля государя, помазанника Божьего, сама по себе воспринималась как непреложная. Именно этими далекими от политического прагматизма, можно сказать, экзистенциальными обстоятельствами объясняется контекст законов о неведении смертной экзекуции и «возведения на виселицу или положения на плаху».

Создается впечатление, что решение императрицы о запрете приводить в исполнение без высочайшей конфирмации смертную казнь и политическую смерть касалось исключительно ее отношений с ее Богом. Поданным, а тем более злодеям, чьи судьбы непосредственно зависели от этого решения, ничего знать не полагалось. Как такового указа о моратории, снабженного расширенными толкованиями и восхвалением монаршего милосердия, не было. Судьба помилованных колодников, спасение их грешных душ и возможное исправление императрицу совсем не занимали. Все они гибли если не под ударами кнута, то от непосильной каторжной работы.

Рефлексы верующей императрицы в абсолютистской России за 20 лет до выхода в свет знаменитого трактата Чезаре Беккарии с легкостью воплотила мечту философа, о которой Европа еще только начинала рассуждать. Однако Елизавету Петровну и итальянского мыслителя разделяли не два десятилетия, а целая эпоха, и в моратории на смертную казнь в Российской Империи воплотились не просветительские идеалы, а средневековая религиозность, с одной стороны, и уверенность самодержца в том, что государственный закон и его воля едины, — с другой. Приостановка экзекуций за тяжкие преступления не имела теоретических обоснований и вообще никак не была связана с развитием юридического знания того времени. Любые рассуждения об ограничении публичности казни, переносе акцента со зрелищности расправы на торжество справедливости в суде, переходе от наказания тела к предотвращению повторного деяния и прочие идеи, волнующие европейских философов и правоведов, мало занимали императрицу. Логика христианских заповедей напрямую привела ее к хорошо известному вопросу: «И кто меня тут судьей поставил, кому не жить?». Решив, что лучшей благодарностью Богу будет отказ от смертной экзекуции, русская императрица самодержавной волей не допустила ни одной казни и даже ее имитации в виде политической смерти, а за несколько месяцев до собственной кончины вообще поставила вопрос о принципиальном изменении уголовного законодательства и, видимо, приведении его в соответствии с ее верой.

Поэтому в России сформировалось два поколения людей, не видевших эшафота. Профессия палача постепенно утрачивалась, как утрачивалось и умение соорудить виселицу, что подтвердили трагические события казни декабристов. У правящей элиты возникла привычка, что смертный приговор существует лишь на бумаге и публичные казни не являются главным условием поддержания порядка в обществе.

Всего за два десятилетия правящая и образованная элита сделалась готова к дискуссии о целесообразности казни, и произошло это не благодаря трактату Беккарии, а в результате внутренней установки императрицы Елизаветы Петровны. Проницательный историк Сергей Соловьев писал: «Народ должен был отвыкнуть от ужасного зрелища смертной казни. Закона, уничтожавшего смертную казнь, не было издано: вероятно, Елизавета боялась увеличить число преступлений, отнявши страх последнего наказания: суды приговаривали к смерти, но приговоры эти не были приводимы в исполнение, и в народное воспитание вводилось великое начало».

ЕЛЕНА МАРАСИНОВА,
доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института
русской истории РАН